

Иван ОБРАЗЦОВ

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КИРПИЧ

Малый роман

Глава 1

«Что посеет человек, то и пожнёт...»

(Гал. 6:7)

День горел живительным апрельским солнцем. Тонкие птичьи голоса охватывали журчащей жизнью кроны деревьев, а нагулявшиеся в марте коты сидели на тёплых асфальтовых и скамеечных плоскостях, жмурясь и лениво разглядывая этот проснувшийся от зимы праздник. Флёр непреходящего восторга от пробуждения земли проникал через все органы чувств в человеческие тела, по крайней мере, проникнуть стремился, и каждый раз сила стремления оставалась неизменно молодой и свежей. И эту негу прорвал непримиримый, дребезжащий вскрик:

— Сдохни, сдохни, аспид проклятый! — кричала бабка Серафима и пырляла палкой в соседа.

— Какая тварь, какая тварь... — бормотал в сторонке испуганный Сергей Петрович Глотов.

И было непонятно, то ли он это о Серафиме, то ли о соседе, а может, и вообще в пустоту говорит, может, просто приобретённо-инстинктивно бормочет, повторяя привычное повседневное зло.

Сосед пытался втиснуться между скукоженной старухой и дверным краем в подъездный маленький предбанник между первыми и вторыми дверьми. Закрываясь дверью, он прятался за ней и никак не мог решиться на прорыв. Старая Серафима упёрлась больной негнущейся ногой в площадку крыльца, а вторую выставила перед дверью. Сосед не то чтобы боялся Серафимовой палки, нет — он боялся ненароком сбить железной дверью бабку Серафиму с ног...

Этот осколок вчерашнего воспоминания, ушедшей дневной реальности всё мучил и мучил сегодня с самого утра. Сергея Петровича вообще уже довольно продолжительное время сильно шатало изнутри и внутри. То он проводил день в полнейшем оцепенении, даже почти в святой простоте, то вдруг прорывался наружу какой-нибудь гнойный вскрик из стонущего нутра. Он всё чаще говорил сам в себе, сам с собой. Монологи были самого разного тематического оттенка, но неизменно заканчивались чем-то невнятно-многозначным, размытым и неокончательным. Сегодня на повестке духовных изысканий оказался отрывок вчерашнего дня от обеденно-дворового до школьно-рабочего времени.

Вот, вспомнилось сейчас, вдруг вспомнилось и также вдруг стало ясно, что хочется как-то по-живому жить, как-то истово, чтобы прямо касалось тебя жизнью, а не вскользь, не со стороны вот чтобы. Страстно хочется жить, даже страшно, и вообще — как угодно, но жить! Все эти годы ты получал ровно наоборот, не жизнь, а так, что только казалось тебе чем-то, а по факту было то злым и отчаянным выгрызанием куска реальности. А люди, они же через пропасть всегда, через тупую и глухую стену, так что и кричи не кричи, а всё без толку.

И вот, сейчас, смотришь на людей, и отчего-то нет больше пропасти, будто постыдно и видно всё стало тебе о себе, да так, что кажется каждому встречному — вывалился напоказ и нечем укрыться. Нет теперь этой темноты будто, будто прозрачно и близко всё твоё всем стало. Должна же быть пропасть, всегда была, но нет её. Будто голый ты или люди стали тебе другими выглядеть. Может, даже что-то с головой психическое произошло, может, зрение обманывает, непонятно пока, но точно перед глазами буквальными и теми, которые другие глаза, оценочные какой-то новой мерой.

И сказать пробуешь, хочешь сказать, только голос подводит. С недоумением, с ужасом понимается, что когда кричал ради грохота, ради чего-то там своего — голос был упруг и железен, алел голос и пурпурно цвёл яростью, запожарным угаром, отчаяньем. А сейчас, вдруг оказывается, что не ты это хотел грохота, другой кто-то тобой

кричал и бился. А ты — вот он, в ослепительном стыде лежишь сейчас и хрипишь и по губам обгрызаешь сам себя, а сказать не выходит.

Нужен был людям, и люди хорошие нужны тебе были. Вот, наконец, пересеклось, совпало, и начали дело. Да только встретились за полночь. И разве деньги проклятые? Нет! Проклясть можно человека, и проклясть можно деньгами, никак по-другому не бывает. И спорить не нужно нам, никому и ни с кем, потому что солнцу нисколько не леденее станет, если мы о нём так скажем. Солнце останется жарким собой, и только мы станем о нём ничего не знать. Спорить не нужно, это мы зря.

Там, через дорогу, в гимназии или средней школе, там работает каким-нибудь физруком такой же вот живой человек. И работает он так, что видно, живёт он, по-настоящему всё у него, хоть и по-простому вроде бы, а так вот, живое какое-то. Ну и да ладно, ему-то разве слава толкается в груди, когда он школьникам урок ведёт, нет же, очевидно, что нет. Денег ему надо? Ну да, было бы хорошо кредит закрыть за тойоту дешёвую, ну, ещё на даче теплицу новую поставить да сетку для винограда купить. Так это ж всё обычное дело, житейские заботы. Может, и пьёт он по выходным пиво на своей даче, а может, и грядки копает, разве об этом речь-то? А дети носятся по площадке с баскетбольным мячом, хохочут над одноклассниками, которые по канату не могут подтянуться на метр от пола, жирными друг друга или длинными обзывают. Вот вся работа, чтобы только окрепли немного, радостно с мячом до кольца нацеливались, загорелись этой кипящей жизнью и крепостью.

Физрук для того же и собирает год за годом шеренги школьников, чтобы они жизнью пополнились, соплями и хилыми конечностями из жизни чтобы не протекали. И что? Знает кто про этого физрука? Ну, не конкретно про этого, а вообще, про смысл и важность труда такого. Уважение своё человеческое к человеку кто здесь направляет по прямому и здравому разуму?

Всем не до этого, больше до мэров, до чинов, их по имени-отчеству знают, даже ругают по всей форме и фамилии. А кто такой, кто этот человек, что физруком, да пускай трудовиком или как там ещё бывает, он же не мэр, не олигарх, не поп-звезда. Он обычное дело делает, такое же как фундамент здания, как воздух, которым дышим, как лето или дождь. Даже ещё меньше. Ведь воздух забори, и сразу он дороже всех нефтяных скважин и торговых центров станет, через полминуты за вдох всё отдать человек будет готов. Фундамент можно и пропустить, но до первого этажа, а выше уже не сможешь строить, рухнет всё, вот и попробуй без фундамента. Лето, дождь, это тоже до поры до времени можно забрать, но тоже не очень-то и надолго. А физрука или трудовика запросто ненужным назовут, и незаметно даже будет их отсутствие.

Год, два, пятьдесят, а потом и некому уже будет понимать, отчего всё хилое да кривокосовое. Говорить начнут, что всё соплями протекает, и эти все говорливые и красноречивые речи даже и не вспомнят, как физрука с трудовиком выгнали когда-то из школ. Это ж не главный руководитель, не яркий поп-клоун, певун-хототун, даже и не хапасливый и запасливый купец, этих-то сразу заметят отсутствие. Почему? Да потому, что на их места здесь же стоит очередь, на эти-то места кажется важно попасть, ну, или рядом постоять, а физруком-трудовиком пускай вон тот, или в другой жизни.

А всё это вот сейчас сижу и думаю, вроде и про соседей, а и про то, что у меня же в школе физрук есть, он даже чемпион какой-то там. Вчера зашёл по поводу новых матов для спортзала, слово за слово, и друг рассказал, как на соревнованиях однажды чуть не сдался, а потом победил. Нет, не было мне вчера стыдно, да и сейчас тоже мне не стало стыдно, ни за президента, ни за Россию — за это мне как раз оказалось мало повода и основания лично стыдиться. Нет, ни за кого-то, ни за всех — за себя одного проваливался вчера. И сегодня опять проваливаюсь, и всё тут, за какое-то своё отсутствие, что ли, такое буквальное, конкретное, не ради красных слов, а прямо и неотвратимо совестливое. А всё потому, что оказалось так трудно за себя перед собой ответить. Я всё думал вчера об этом, неожиданно так думал, даже как-то бодренько, а этот чемпион-физрук рассказывал так, без особого грохота:

«Когда казалось, что всё, не могу, сил не хватит победить, умения не хватит, я тогда нашу вот панельку пятиэтажную вспомнил, что люди здесь живут, пускай обо мне и не знают, но и за них я же ведь тоже вроде как здесь выступаю. За дочку вот свою, за жену. И сразу как-то стыдно стало, ну, как-то сил, что ли, нашлось во мне, даже смешно сказать, но вот прямо как эти все соседи мои родные, и все как бы рядом стали. Там и неважно было, кто какой мешок с мусором под дверь кому подбрасывал, как-то забылось всё это, а вот сила пришла большая. И ведь выиграл, ведь по всем фронтам, казалось, кончено, а взял и вперёд вышел. Там иностранцы почти уже места распределили себе, соревнование ж было международное, а в итоге мы первыми и стали. Вроде как выиграл-то я один, а награждение как я для всех принял. Смеялись потом в раздевалке с тренером, и ведь будто и не устал даже, вот тебе и победа... Нам бы маты обновить, совсем тонкие, старые они уже, Сергей Петрович. А то совсем заниматься

не получится скоро, я ж на канат детей как без страховки пущу, они ж побиться могут, дети наши...»

Отказал я ему внутри, с первых же слов знал, что откажу. Нет, не от того, что денег у школы нет или надо ему много, нет. Просто лень мне, что ли, оказывается, заниматься не своими идеями, мне своё только значимым и кажется ведь, мне мои дела одни и кажутся стоящими суеты. Вот понимаю всё вроде. Как там говорят про собаку, что глаза умные, только сказать ничего не может, всё гав да гав. Почему же мне и вроде должно быть стыдно, ведь вот всё по полочкам понятно, но как-то кажется, что совсем в глубине ничего не колыхнется, не стыдно, по правде-то. Ведь понял же всё, понимаю всё, а вместо стыда какая-то пустая расселина перед глазами сыреет, и сереет небо над провалом.

Каждый человек рождается для жизни, и не бессмысленна жизнь. Потому-то и ясность, резко и не отвернуться, вокруг встала — не люди виноваты, нет, не люди. Твоего слова не было, и нет ведь до сих пор, сердце молчит, не шелохнётся для участия.

Физрук молчал и ждал ответа, он же не просто детишек тренировал, он будущее строил, дома будущие возводил и мосты через этих детишек в будущее, а сейчас твоя очередь, тебе сейчас надо сказать. Но почему голос подводит, может, надо ему укрепить для самых важных слов. Скотство и свинство какое-то и ничего больше внутри, болото сплошное, да ряска поверху.

«Стыдно», «стыдно» — одни слова, как реклама на мониторе, а сути за этим моим стыдным только и есть, что не стыдно, а стадно одно.

Глава 2

«Педагог в Древней Греции (от гр.-греч. «ведущий ребёнка») — раб, которому в богатых афинских семьях поручалось охранять от физических и нравственных опасностей детей-мальчиков. Педагогами времён Римской империи также назывались рабы, учившие новых рабов приёмам рабской службы...»

Сводная историческая справка

Сергей Петрович Глотов давно подумывал об уходе с преподавательской работы, где в поте лица трудился уже много лет историком в должности директора школы. Особенно после развала СССР, когда всё покатило кувыркком и лихо завернуло на широкую коммерческую колею, Сергею Петровичу показалась совершенно очевидной бесперспективность прозябания в школьном нервическо-хозяйственном состоянии.

«Надо открывать своё дело», — думал он всё настойчивее и навязчивее для самого себя.

Но неожиданно судьба вывела его из таких пронзительных виражей повседневно-го тяготения и муки в новую плоскость бытия. Ну, как сказать неожиданно, это было скорее неожиданным поворотом в его вялотекущем желании всё изменить и зарабатывать много денег, а вот по времени всё как раз вполне оказалось ожидаемым. Думал-то про открытие своего дела Сергей Петрович ни много ни мало, а до самых десятих годов нового века.

В это время страна уже отлихорадилась, перебродила и теперь побулькивала редкими выходами газовых тем то тут, то там в медийном пространстве. Народ неслабо угомонился и начал активно улучшать демографическую ситуацию. Среди газового побулькивания и бесконтрольного и часто бездумного общественного социального реформирования на местах крепи острова средне-крупного регионального бизнеса, в том числе и в сфере строй-кирпич-бетон. Удивительно, но среди разрастающихся новостроек и разбухших банковскими счетами на их возведении владельцев строительных картелей стали появляться исключительно гуманистические всполохи, выражающиеся в материальных вложениях в душевную благотворительность.

Необходимо упомянуть ещё несколько фактов, которые сыграли трагическую, а может, и промыслительную роль в дальнейших событиях. Сергей Петрович состоял в законном браке уже много лет. Супруга его, Галина, преподавала в той же школе русский язык и литературу. Познакомились они без каких-либо приключений — в ходе совместного обучения в пединституте, после окончания которого и поженились, а также устроились работать в одну школу. Пока Сергей Петрович продвигался до должности директора, Галина родила ему дочь. Дочь давно стала взрослой, замужней и подарила отцу внучку Настеньку. Настенька росла красивой, умной и скромной девочкой, а дед в ней (что также вполне обычно) души не чаял. Потом окажется, что лучше бы Сергею Петровичу было чаять не только и не столько о душе внучки, сколько о своей, но об этом как раз необходимо будет рассказывать отдельно.

Итак, новая плоскость бытия для Сергея Петровича оказалась не такой уж и новой в смысле должности. В растущих по окраинам города кварталах постепенно стали появляться не только частные или специализированные детские сады, но и разного рода школы, гимназии, лицеи и прочие учебно-воспитательные заведения. В одно из таких строящихся заведений и был приглашён Сергей Петрович на директорский пост.

Он сам так и не понял, кто, как и какими путями донёс до владельца местной крупностроительной конторы о его директорских талантах, но предпочитал успокаивать себя мыслью, что всё-таки не зря не торопился бросить школу, так как это позволило ему прослыть истинным и самоотверженным руководителем бюджетного учебного заведения. Правда, как только ему была озвучена сумма заработной платы на новом руководящем посту, то уход с бюджетной основы произошёл как-то даже естественно, в течение чуть ли не одной недели. Более того, на новом месте Сергей Петрович даже и не вспоминал о многолетней предыдущей работе в связи с конкретной школой, а только предпочитал указывать о своём «уникальном многолетнем опыте».

Галине тоже нашлось место в новом учебном заведении, но она, по совершенно непонятным для мужа причинам, решила остаться преподавать в бюджетной школе и продолжала спокойно ходить туда по обычному графику.

— Галина, ну что ты там такого не видела? Сама же знаешь, всё эти бесконечные составления отчётов, учебных планов, это ж только для проверяющих на один день нужно, а сидишь и готовишь их весь месяц до самой ночи. Ну что ты там оставить-то не можешь, там же даже эти дети, они же совсем перестали учиться, а ты хоть разбейся, всё равно ничего уже там не поменяется! — Сергей Петрович искренне переживал, что супруга так устаёт от действительно выматывающей отчётной волокиты.

Он понимал её желание учить детей, но никак не мог разделить ту точку зрения, что учить необходимо до самопожертвования. На его взгляд, важнее и реальнее, когда учёба имеет распорядок и конкретный результат в виде дальнейшего устройства учеников школы в престижные университеты и на хорошо оплачиваемые должности. Остальное он давно развеял в своей голове как наивные студенческие иллюзии. Все эти разговоры про долг учителя, будущее нашей страны и прочие замечательные идеи — всё это годилось для мотивации молодого неокрепшего ума студента гуманитарного направления, а взрослая жизнь состояла совсем из иных ценностей. Так что настойчивое нежелание Галины оставить старую школу он принял как каприз и только иногда пытался вновь и вновь привлечь её прелестными возможностями и переместить на новую учебную площадку.

«В конце концов, — думал он, — ничего нового, она здесь сама должна увидеть, а я пока создам условия. Галя, конечно, будет стоять на своём, за то её и полюбил — идейная всегда была».

Глотов с теплотой вспоминал их первые встречи на институтских практиках.

Галя говорила на практических занятиях тихо, хотя и твёрдо, идейную крепость сразу было и не разглядеть, а потому Глотов порой даже удивлялся, как это их свела судьба.

Главное, что теперь моих доходов вполне хватает на всю семью, да и перспективы открываются явно более широкие, чем в бюджетной школе.

Да, надо вспомнить ещё один маленький нюанс, что неизменно сопровождал деятельность Сергея Петровича на протяжении этих школо-директорских лет. Хозяйственная часть всегда была для него отдельным пунктом интересов, и не то чтобы Сергей Петрович приворовывал, но если что долго находилось в состоянии непристроенности, то он пристраивал это куда следует, руководствуясь исключительно практическими соображениями пользы, но никак не собственной жадностью. Иногда пристраивать приходилось в своё домашнее хозяйство, но только по самой необходимости, ни в коем случае не из стремления избыточно нажиться. Потому новая школа показалась естественным источником различных перспективных материалов и местом активного приложения здорового хозяйственного темперамента нового директора.

Были, разумеется, некоторые нюансы, ведь частная финансовая инициатива благодетелей всё же являлась не бесконтрольным выделением денег и материалов. Но для такого опытного руководителя, каким Сергей Петрович желал продолжать оставаться на новой должности, главное — дать немного времени отдышаться, оглядеться, прищуриться, а там дело и пойдёт самым естественным руслом.

Глава 3

«В начале было слово...»

(Ин. 1:1)

При школе работала столярная мастерская, которая включалась в учебный процесс в качестве дополнительного развивающего факультативного занятия. Интерес-

ным оказалось другое — вёл занятия в мастерской не обычный трудовик, а священник. Это для Сергея Петровича было в новинку, и он даже вначале было растерялся, но опыт взял своё, и ум, проанализировав ситуацию, не нашёл ничего опасного в этом столярном факте.

Будучи включён в образовательный процесс волей благотворителей, батюшка Андрей воспринялся умом Глотова в качестве бесплатного и, в каком-то смысле, развлекательного приложения к частно-меценатской финансовой базе, как дополнительная преподавательская нагрузка рукодельными и спортивными кружками. Только нагрузка здесь смещена в область всего школьного хозрасчёта, а не конкретного педагога.

Проще говоря, если раньше Готов имел опытное понимание, что советского преподавателя могут нагрузить школьными секциями и кружками, а российско-федеративному педагогу этими же методами составлялась небольшая прибавка к зарплате, то в частной школе платил за всё благотворитель. А нагрузка дополнительным столярным кружком ложилась только на отдел учёта-отчёта о работе школы.

Самому же директору здесь ничего не грозило, разве что можно было, встретив батюшку в коридоре, иронично обмолвиться бородатой шуткой, вроде того что космонавты в космос летают и никакого бога там не видят. Или про «попов в мерседесах да золотых цепях» вспомнить.

Первый раз они поговорили как-то спонтанно, но обстоятельно. Тогда Сергей Петрович остался доволен своей грамотной аргументацией, которую отец Андрей не очень-то, на взгляд Глотова, смог опровергнуть:

— Вот какой смысл в этих всех наклонах перед иконами? Какой вообще смысл всё это вот проводить, все эти мероприятия общественные, разные размахивания руками и прочими предметами культа? Вот вы, Андрей Иванович, священник, вы сами-то ведь человек взрослый, должны же понимать, что бог вообще-то не очень сегодня и заметен и, может, оттого, что люди просто в мире разобрались и никаких чудес не нашли. Разве бог, какой-никакой бы там он ни был, ну, допустим, что есть он там какой-то — такое сверхмогущественное существо, которое настолько сверхмогущественное, что мы его никак обнаружить не можем, прямо никакими приборами не можем зафиксировать. Допустим, как вы утверждаете, ну, не вы конкретно, а вообще, что бог всех любит, обо всех беспокоится. Но разве он может называться справедливым, когда вокруг такое творится? Сами посмотрите, что сегодня происходит.

А раньше, там же несколько не лучше, там все эти столетия только и перемежались войнами да плясками у костра, танцами на банкетах и дележом награбленного. За бога вашего только и делали, что либо кого-то убивали, либо сами убивались, разве не так? Христос ваш вроде никому ничего плохого не сделал, а его самого и убили, да ещё и по закону, юридически, так сказать, всё оформили. Кстати, сами же священники и оформили. Ну и с какой стати мне должно быть убедительно, что вы, священники, сегодня не те же самые, что тогда? Чем вы-то от тех отличается? Они же там тоже не ходили с топорами кровавыми, вроде порядки всякие церковные соблюдали. Ну, вот только когда коснулось, то и первые выступили, чтобы власти римские казнили их же собственного проповедника добра и любви. В общем, нет никакого справедливого бога, потому что нет никакой в мире справедливости ни сегодня, ни раньше, а значит, и не бог это всё создал, и не бог здесь всем управляет.

— Так у Бога справедливости и не может быть, — отец Андрей сделал паузу, чтобы Готов ощутил всю ошеломительность такого заявления от священника, а после закончил мысль: — У Бога есть только правда.

— В каком смысле, какая правда? — Готов и вправду не очень ожидал подобного заявления, но быстро собрался. — При чём здесь вообще правда, я же говорю, что всё вокруг несправедливо, а потому и ничем здесь никакой бог не заведует. По крайней мере, если и заведует, то как раз бог войны какой-нибудь или бог денег, но никак не бог любви и добра. Вокруг оглянитесь, и всё очевидно станет без доказательств,

— Сергей Петрович понял слова священника как попытку уйти от прямого ответа, и это лишь раззадорило внутреннее возмущение таким очевидным мракобесием: «Он думает, что я такой же идиот, как его бабушки в церкви, или вообще не понимает, что сказки про богов давно ушли в область приключенческой литературы».

— Так про вокруг речь и идёт. Вот вы сами сейчас сказали о том, что много плохого, много злого происходит, и многие так говорят, и правильно говорят. Но почему о причинах не подумать, ведь причины происходящего, наверно, покажут источник злых дел или укажут, где этот источник искать.

— Так при чём здесь источник, если бог такой всемогущий, то взял бы и перекрыл все эти источники, и дело решилось бы за один день. Ну, там молнию какую-нибудь придумал бы, чтобы по голове била сразу, как только злое дело задумал кто. Так нету же этого, значит, и бога никакого нет, или наплевать ему просто на нас, вот и всё. А если ему на нас наплевать, то какой смысл нам для него что-то делать? Никакого.

— Да Бог-то может всё что угодно сделать, только зачем тогда человеку выбор дан, если не для того, чтобы он сам от злого дела отказался.

— Да уж, заставишь сегодня кого-то от злого дела отказаться, когда от дела при-быль безнаказанно идёт, это вы, Андрей Иванович, уж извините, прямо что-то фантастическое представлять предлагаете. Злое не злое, кто вообще определяет, что есть злое, если не сам человек в зависимости от ситуации. Мораль же нельзя ничем другим измерить, кроме человеком придуманных линейек, а уж, тем более, что мораль и подобные ей категории вообще существуют исключительно до тех пор, пока есть кому про них рассказывать. Человек, если уж на то пошло, это только собрание разрозненных физических законов, этакое электромагнитное взаимодействие, и никаким богом здесь нет нужды объясняться. Приблизить до предела какого-нибудь младенца, и что там? Всё протоны, электроны и их взаимное окручивание вокруг ничего. А в итоге всё одно — уничтожение, аннигиляция, так сказать, полнейшая и бесприкрасная.

— Как-то вы, Сергей Петрович, ничего мне не оставляете как человеку, как ближ-нему вашему, даже себе совсем никакого содержания не прибавляете, кроме вот этих вот элементарных крошечных кусочков материи. Знаете, всё в таком физиологиче-ском мире просто до подозрительности, весь такой научный пересказ выглядит ужас-но неполным. Космос из больших кусков, а чем мельче, тем только куски уменьша-ются и ничего другого — это если сильно упростить, и это, конечно же, с оттенками и направлениями, но суть именно такой получается. Только вот есть один нюанс, а именно по поводу простоты. Простота, она, знаете, вещь такая, дупольярная, бывает, либо тривиальная, либо невысказанная. Вот и выбирает человек самостоятельно, каждый раз и из раза в раз, какая простота ему по душе, от какой из них ему смысл и глубина видится.

— Нет, нет, не скажите, ведь научный взгляд, он именно объективен, потому что можно экспериментально повторить, независимо от человека.

— Об этом и речь. Если человек не нужен для научного описания мира, если че-ловек здесь только собрание разрозненных физических законов, то какой может быть смысл во всей жизни, в том числе и в науке, зачем тогда этой наукой занимать-ся. Скажу вам больше, кто тогда этой наукой занимается, нравственная личность или механическое совпадение разных молекул? Поймите меня правильно, именно в этой тривиальной, банальной, какой угодно замысловатой, но принципиально ничего не имеющей как смысл, именно в такой схематичности и заключается её разоблачение.

— Хорошо, предположим, что ваше утверждение имеет смысл, но если это просто-та тривиальная, то какой же тогда должна быть невысказанная простота?

— Так здесь ничего трудного, ведь мысль изречённая известно чем является, точ-нее, известно, что мыслимое ценно именно лично, без произнесения вовне. Вот от это-го и отталкивайтесь. А там, за мыслимо-схематическим, за этим поверхностно плаваю-щим, и будет пространство невысказанной простоты. Если говорить об известном лично мне, об опытным, то это и вы наверняка слово слышали, это называется молитвой.

— Молитвой, — Глотов усмехнулся. — Вроде заклинания, которое тебе даёт чув-ство значимости ритуала или просто самовнушение. Нет уж, я, Андрей Иванович, ува-жаю вашу позицию, но никак не могу разделить, уж извините, здесь каждому своё.

— Да, наверное, вы правы, в конце концов, известно же, что кто-то начинает утро с молитвы, а кто-то с одурманивающей ум сигареты, вот и выходит, что действительно каждому своё.

— Хорошо, что я не курю, — сказал Глотов вслух, а про себя усмехнулся над наи-вностью аргументов школьного священника. — Я утро с гимнастики начинаю.

Зазвенел звонок, и разговор пришлось свернуть. Сергей Петрович был собой дово-лен, как говорится, срезал, так срезал церковника.

Глава 4

«Хочешь, я убью соседей, что мешают спать...»

Из некогда широко известной песни

За окном стелилось низкое серое чрезполосное небо. Глядя из окон квартиры, в такую погоду нельзя точно установить, то ли на улице идёт дождь, то ли просто асфаль-товая полоса дороги темна от сырости и от солидарности с тёмно-серым небом.

— Серёжа, пойдём в церковь, там сегодня куличи пасхальные? — Галя погладила его по плечу.

— Да ну их, там народ наверняка всякий потеет, только толпиться и ОРВИ подхва-тывать.

— Ну, давай хоть в кино сходим?

— В кино? — Сергей с каким-то сомнением ещё раз посмотрел в окно. — В кино

можно... Только, может, ерунда там разная идёт.

Готов отвечал молодой супруге как-то рассеянно, и на то была самая что ни на есть банальная причина — он параллельно вспоминал вчерашний разговор. Нет, сам Готов в разговоре не участвовал, точнее, его участие ограничивалось присутствием, скорее даже случайным прислушиванием.

После окончания института он как молодой дипломированный специалист третий год набирался так называемого опыта на различных исторических форумах, конференциях и научных сессиях-семинарах, которых в эти последние российские десять лет двадцатого века расплодилось большое множество. Легионы хищных наставников захватывали умы неокрепших либро-демократических неофитов, а умы эти трещали по швам от переполняющего одержимого восторга, упоения ветром свободных перемен. Пока вся страна бандитски стреляла и также бандитски сидела, в прослойке образованного населения зрели самые настоящие мистическо-мифологические настроения, от которых происходили все варианты учебников истории и педагогики, причём представления об истории имели такие же дикие экзотические вариации изложений, что и системы контроля и обустройства преподавательского процесса. Всё вдруг стало неимоверно захватывающим и заграничным, от чего Готов переставал вообще понимать смысл своих поездок, больно уж путанными оказывались некоторые речи окружающих ораторов.

Какие-то мутные закордонные учителя всех мастей и их местные последователи, коммерческие и общественные то ли фонды, то ли организации и проч. и проч. активно заповолокли бескрайние просторы русских городских равнин и санаторных предгорий. Что столичные, что региональные сборища подобного типа неизменно сопровождалась беседами о злободневно-либеральной повестке, философических идеях и политологических приближениях. В конце концов, Готову так опостытели эти собрания, что он просто присутствовал и получал необходимые справки об участии, тем самым набирая необходимое портфолио. Порой чьи-нибудь пространные рассуждения нежданно-негаданно прерывались шокирующими диалогами, которые единственно и привлекали внимание молодого историка, и тогда он вслушивался в чужие разговоры.

Вот и сейчас вспомнилось из вчера одно пространное высказывание какого-то профессора и ещё, прямо о другом и у других, но каким-то образом срифмовавшийся с высказыванием, диалог:

«...Все эти бесконечные экстрасенсорные и тренинговые, приказные, идиотически и тупо прямолинейные, как бессмысленная жердина, все эти «чё такой грустный», «шире улыбка, ребятки», «чего приуныли, ну-ка приподнимемся» и прочая бесчеловечная гадость, которая к радости вообще не имеет никакого отношения. Радость и гадость, вроде бы одну первую букву замени, и одно становится совсем иным всем остальным. Первое, оно всегда потом и тянет за собой всё остальное, даже если это остальное полностью будет дальше совпадать. Это как открыть дверь на улицу, а там какой-нибудь большой мир. Вроде коридор к двери такой тонкий и короткий хвостик, что сам-то только часть, но в сравнении с тем, что за дверью, часть небольшая. Это как хвост или хобот, а дальше весь слон, только слон будет либо добрый и пушистый, либо шерстистый и злой...»

Тот вчерашний профессор говорил эти слова вообще непонятно кому, будто высказываясь вообще обо всём и сразу с высоты своих профессорских седин. А вот собеседники, чей диалог сейчас казался рифмованным с профессорскими абстракциями, эти Готову запомнились ещё своими нетипичными докладами. Дело было не в самих докладах, а скорее в их каких-то уж очень замысловатых названиях, в которых чувствовался то ли призыв, то ли прорыв. В общем, что-то такое манифестирующе-декларирующее, причём в самой интонации докладчиков это звучало даже больше, чем в непосредственно произносимых предложениях. Зато диалог после всего, в той обстановке, что располагает называться неформальной, этот диалог Готов запомнил очень хорошо. И слова разговора оказывались произнесёнными не так трибунно, зато намного более связно в содержательной части:

— ...Ну какая радость может быть, если такое происходит?! Боль, одна боль за русскую идею. Только болью можно подвигнуть к действию, потому я и действую, а иных вариантов и быть не может. Никакой радости не существует в принципе, а всё, что так называют, это одни симулякры, заменители истины, фастфуд духа, — объёмный мужик с солженицыновской бородёнкой и ленинской залысиной говорил так, словно вычитывал знакомые цитаты из толстого академического издания. Рядом с ним потягивал охлаждённый martini собеседник — мелкий мужичишка в модном пиджачке и полутёмных очёчках в стиле «от кота Базилио». Правда, в отличие от оборванного кота-мошенника, этот мужичок одет был довольно прилично и в смысле эстетики, и в смысле высокого ценника предметов его личного гардероба.

— Знаете, друг мой, радость может быть и сквозь слёзы, но именно слёзы, боль, они тоже дают тебе возможность почувствовать себя частью людей, которые страдают, через сопереживание, солидарность страданию человеческому ты вдруг обретаешь понимание общности, единства с каждым человеческим существом на планете. Шрамы трагического бытия — это морщины эмпатии, а потому радость, мой дорогой друг, она в неведении об этих безднах, следовательно, и кажется иногда, что никакой такой радости не существует. Банальность в том и заключается, что пока не ведаешь, пребываешь в радости, а как о радости задумался, то только сквозь слёзы о ней и можно вспомнить, и не просто слёзы от личной боли, а сопереживание другому. Народ, который всё время ограничивать в элементарном, начинает сопереживать намного эффективнее, а с тем и плотнее сбивается под лозунги, только так его и можно народом делать, только так.

Ну, это обычно только в теории замечательно звучит, а по факту, так оно поди попробуй сопереживать, когда что ни абориген, то всё щетинистый и озлобленный. Разве такого научишь сопереживать? Он от боли только агрессивнее становится, здесь и заключается вопрос в окультуривании, а уж потом в приобщении к чему-то более высокому. А где-то так и совсем ведь никто понятия не имеет о происходящем. Война какая-нибудь местная, она для самих местных апокалипсисом ведь кажется, а ты можешь сидеть на другом конце земли в огромной и мрачной империи и понятия не иметь вообще ни о каком сострадании, только злость одна.

Где бы ни происходило страдание, оно всегда бесчеловечно, и не может быть страдание, известное тебе сейчас, быть выше или ниже того, что тебе неизвестно, выше любого прямо сейчас умирающего от боли, от ужаса жестокости, от болезни. Радость в слезах и сопереживании как раз и есть истинная радость, пускай она и кажется тяжёлой. Потому и улыбание ради внешности, это бессмысленный оскал. Надо избегать такого бессмысленного оскала, он бесчеловечен и бездушен уже по своей внешности, потому и не может это принести истинной радости. А сопереживание ближнему, как это ни странно, а на самом деле совсем даже не странно, оно как раз и принесёт тебе понимание радости в самом трудном её проявлении, тогда и в остальном радость станет более ясной.

Объёмный мужик взял с маленького столика маслину на зубочистке, бросил в рот и запил из бокала, в котором, судя по красной шее оратора, плескалось нечто значительно крепче martinovogo коктейля:

— Угу, угу.

— Знаете, друг мой, когда я был в эммэграссии, — мелкий именно так и произнёс, с вначале неясным Глову пришептывающим акцентом, — то однажды в маленьком уютном варшавском кафе познакомился с приятным мушчинной. Как-то легко мы сошлись и бэссэтта наша, — он вдруг начал произносить некоторые слова с явно выраженным прибалтийским акцентом, хотя вся остальная речь звучала на чистом русском языке, — оккасалась настолько занниматэльной, что я был просто ошеломлён.

По непонятным причинам мужичонка дальше перестал пересказывать на акцент и говорил исключительно на чистом русском языке:

— Мужчина оказался высокоинтеллектуальным эрудитом, а заговорили мы о страдании. Мне показался крайне неудобным режим работы городских музеев и храмов, так как они не совпадали и приходилось ожидать либо открытия одного, либо другого порой более полчасика. Я в тот день совершал культурное ознакомление с предметами европейского искусства. Погода была крайне сырой и ветреной, а потому из-за ожиданий открытия некоторых культурных заведений я сильно продрог и боялся простудиться, вот и зашёл в кафе.

Знаете, дорогой мой друг, мужчина этот представился не кем бы то ни было, а пастырем, который путешествует по миру по каким-то просветительским программам, но это и неважно. Важно другое. Тогда очень актуальной повесткой являлась ситуация на Ближнем Востоке. И вот мы разговорились об этом. Суть разговора можно пересказывать долго, но самое главное, что меня поразило, так это что-то вроде просветления от последних слов, сказанных пастырем уже перед нашим расставанием. Он сказал примерно следующее:

«Сын мой, вся эта мировая боль и крики сиюминутно страдающих представителей рода человеческого никоим образом не могут отразить глубинную суть происходящих процессов. Понимаете, дело же вовсе не в том, что так сильно обращает на себя внимание внешней стороной, а в долгосрочных последствиях, которыми любое дело оправдано. Ну, вот возьмите, например, суд и распятие сладчайшего Иисуса или Нюрнберг, да, да, те самые суды. С внешней стороны это судебный процесс над преступниками, но так ли уж он юридически судобен? По существу, весь этот суд был лишь сплошным зачитыванием обвинительного приговора, а юридически никакого такого судебного процесса, полноценного разбирательства по существу дела не происходило. Но об-

ратите внимание на следующий факт, точнее, задайте себе вопрос, а насколько преступно было казнить тех, благодаря кому современная наука открыла массу полезного хотя бы в медицине? Да, пускай жестоким методом, но всё же с эффективным долгосрочным результатом», — после этих слов мы попрощались, а я уже не ходил в тот день по храмам и музеям, так как понял, что слов пастыря мне достаточно для культурного переосмысления всего не только моего, но и вообще человеческого опыта.

И вот тогда, дорогой мой друг, я и задумался, а всё ли так однозначно, когда мы клеймим несчастную любовь человека к человеку, какую бы физическую форму эта любовь ни принимала? Что же, если пол у любящих совпадает, то это не может быть искренним чувством? Разве искренне любить не по-человечески? Если бог призывает к любви, то, наверное, имеется в виду любая этой любви форма проявления. Всё ли так прямо можно назвать злом или не злом, если в чистом виде ничего подобного найти, оказывается, невозможно? Конечно, наше поколение только начинает приобщаться к этим истинно серьёзным размышлениям, но взгляд становится намного логичнее. Ведь, согласитесь, что даже вот сейчас наша беседа даёт серьёзную пищу для ума? — мелкий вопросительно замолк.

— Ну да, ну да, это, так сказать, вопрос серьёзный получается, — объёмный даже перестал тянуться к очередному бутерброду. — Знаете, а я вот давно подозревал, что не в порядке что-то с некоторыми рассуждениями наших доморожденных философов, ну, кроме тех, кому удалось избежать мучительных застенков в лапах лагерной цензуры. Ведь это всё наше кондовое так и не стало изящной мыслью в лице совковых мыслителей. Ну, конечно же, кроме, скажем так, тех, освободившихся от надзора буквально, уехавших отсюда и вдохнувших свободной грудью воздуха высокой мысли. Ведь если глубже и шире посмотреть, так вся идеологическая машина, что рисовала радужную реальность, она же одними ГУЛАГами оказывается скомпрометирована, что уж говорить о более широких и менее заметных деталях.

— Совершенно верно, друг мой, и хорошо, что вы ГУЛАГ вспомнили, это же самая страшная реальность как раз потому, что никаких достижений для науки она не принесла и вообще не пыталась принести. В германских лагерях хотя бы учёные медики трудились, проводили исследования о различных влияниях на организм новых методов хирургического вмешательства. А в сталинских лагерях, там же сплошные сидисты из спецслужб издевались над свободомыслием, бесчеловечно измывались над лучшими людьми, а ради чего? Какие такие долгосрочные перспективы были в этих издевательствах? Никаких! Потому что занимались этим не профессиональные медики, не специалисты в разных областях, а исключительно грубые, необразованные вояки.

— Вот, вот, и я о том же...

...Галина собирала в стопку тетради и возвращала на полки книги. Порядок на столе и книжной полке был превыше всего.

— Знаешь, Серёж, а давай, правда, не пойдём в кино, давай просто в парке погуляем. Тем более сейчас всё уже прибрали, дорожки почистили, да и бельчат, может, увидим.

— Каких бельчат?

— Так там же белки живут, в парке. У них и кормушки установлены специально. В прошлом году с тобой, помнишь, на день города в парк ходили, я тогда видела кормушки новые. Ты ещё за мороженым в киоск уходил, а я на скамейке оставалась, помнишь, вот и рассмотрела, и белку одну видела.

— А правда, пойдём лучше в парк, устал я от сборищ культурных. Надо бы как-то уже трудоустроиваться по всей форме, сколько можно испытательными сроками нас содержать.

— Так летом и оформляют, ты же знаешь. Ты устал просто, вот погуляем в парке, там тихо, никого пока нет, под зонтиком вместе побродим.

— Да, да, точно, под зонтиком, это хорошо.

Глава 5

«Кроме физической, существует так называемая психическая боль, являющаяся, например, при некоторых душевных волнениях: при раскаянии, во время траура и т.д.»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Установленную на восточном углу здания трёхэтажную конструкцию из белого кирпича Сергей Петрович вначале даже не отметил, по крайней мере, не обратил на неё специального внимания. Обнаружилась она в его более пристальном поле зрения уже через пару дней работы.

Описать это сооружение не так просто по причине его непонятого назначения. Конструктивно оно представляло из себя огромный декоративный элемент в виде то ли округлого ложного угла, то ли ложной стены в форме полумесяца. Ширина декоративно-углового полумесяца составляла метра три, и огибал он правый восточный угол главного учебного корпуса. На уровне каждого из трёх этажей школьного здания в полумесяце были небольшие арочные проёмы. Никаких украшений, штукатурки или чего-то, что можно назвать прикладным или каким-то похожим искусством, на нелепой стене-полумесяце не было, только кладка, толщиной в три белых кирпича.

Сергей Петрович подумал, что конструкция выполняет техническую задачу, может, здесь особые потоки воздуха, которые необходимо такой полукруглой стеной направить в нужную сторону, ну, или ещё что-то в этом духе. Но выяснилось, что трехэтажная арка-полумесяц является капризом заказчика, чем-то вроде символического знака возможностей. Знак в своей выразительной части ничего не значил, зато выглядел внушительно.

«На кирпич разобрать да дачку построить. Вон внуча растёт, будет ей подарок на свадьбу», — рассуждал Сергей Петрович скорее по-хозяйски, практично, чем из соображений хищнических. Впрочем, называть многое хищническое и лукавое было принято в приличном обществе рентабельным и оригинальным, так что Глотов был вполне себе человеком современным.

В первый год на новой должности пришлось узнать много дополнительных нюансов, и любой другой руководитель мог впасть от новых знаний в административный ступор, но только не Сергей Петрович Глотов. Он сразу сообразил, кому необходимо улыбаться, кому хмуриться, но главное, что, обещая всё что угодно, делать надо по-своему.

Важны не факты, а их интерпретация — этот закон работал абсолютно точно и без сбоев не только в муниципальном, но и в частном образовательном учреждении. Директорский статус позволил устроить процесс таким образом, что отчёты-планы составляли подневольные завучи и педагоги, составляли в том числе и те бумажки-документы, что на выходе числились за авторством самого директора.

Хозяйственную часть Глотов сразу подмял под себя и сделал это крайне профессионально. Завхозом числился один из строительных прорабов от спонсорской компании, и заниматься какой-то побочной школой ему казалось совершенно пустым делом. Как только оказалось, что новый директор готов взять этот пункт обязанностей на баланс исключительно школьного штата сотрудников, то технические сразу нашлись возможности для такой передачи полномочий. Так кирпичное недоразумение, коим называл про себя Сергей Петрович нелепую конструкцию на углу основного школьного корпуса, становилось всё ближе к разбору и реформатированию в дачный подарок на свадьбу внучке.

Однажды Глотов торопился подняться в свой кабинет и, поднимаясь по лестнице, неожиданно и сильно подвернул ногу. Ребята в школе учились вполне воспитанные. Конечно же, спасти директора начали в самые сжатые секунды, и ученики постарше помогли ему добраться до медкабинета. Там Глотов с удивлением обнаружил, что на стене, над рабочим столом их штатного медика висит какая-то иконка.

— Что это, вы верите? — кивнул Глотов на образ.

— Я сейчас работаю, — спокойно ответила доктор.

— Да я не против совсем, вы не подумайте, просто интересно, ведь вы же врач.

Доктор вопросительно посмотрела на Глотова:

— Конечно врач, а что же здесь удивительного, в медкабинете так и должно быть, — она спокойно улыбнулась, продолжая накладывать тугую повязку на директорскую левую ступню.

— Эхх, — закричал Сергей Петрович от боли в ноге.

— Потерпите, здесь необходима повязка, и придётся ногу совсем не беспокоить некоторое время.

— Сильное растяжение? Долго так ходить? В смысле с повязкой долго ходить?

— Это не растяжение, а скорее частичный разрыв связок, потому ни о каком «ходить» даже речи быть не может. Сейчас выдам вам костыль, а лучше возьмите на прокат коляску, так быстрее будет происходить процесс заживления. Компрессы, разумеется, и дополнительно... Сейчас вам всё запишу, — доктор села за стол и начала заполнять в журнале какие-то разлинованные листки. Глотов бесцельно поводил взглядом и опять увидел икону, на ней была изображена Богородица с младенцем на руках.

— Так это ваша икона-то?

— Икона... икона, пожалуй, не может быть вот так прямо чей-то, мне кажется, что правильно сказать, что я её принесла. Хотя, если уж говорить проще, то да, моя, ну, по

формальным признакам, — она продолжила делать записи.

— Вы извините меня, может, от неожиданности показалось, что я так, как бы... — Сергей Петрович помолчал, подбирая слова. — В общем, как-то не так я имел в виду, мне просто показалось странно, что вот вы, человек, можно сказать, прямо научный, и вдруг икона.

— Что же здесь странного?

— Ну, как-то это, как бы сказать... не научно, что ли, как-то нелогично.

— А при чём здесь научность-то, это же вера, она совсем о другом, это личное и, кстати, вовсе даже понятное. Разве нет?

— Ну, мне кажется, что здесь просто ритуал такой традиционный, культурные разные традиции и всё прочее, дань моде, что ли, или как-то вдруг разрешённое стало, ну, почему бы и нет. Сказки же русские народные в школе читаем, вот и это, — Готов опять кивнул на икону.

— Сказки? — доктор с интересом посмотрела на Сергея Петровича, немного задумалась. — Думаю, что это к сказкам мало имеет отношения, скорее к буквальным жизненным делам. Вот как боль сейчас ваша.

— Боль? — удивился Готов. — Какая боль, при чём здесь боль, она от того, что ногу подвернул, вот и все жизненные дела.

— Ну, конечно, с медицинской точки зрения, это частичный разрыв, травмирование связочного аппарата, сухожилий мышц голеностопа. Но вот про боль. Я однажды разговаривала с одним человеком, и знаете, что он мне об этом сказал?

— О боли?

— Да, о боли, я как раз дочку похоронила, она в аварию попала с внучкой моей. Маленькую удалось спасти, а доченька моя... — её глаза наполнились каким-то светлым и печальным теплом.

— Простите, я не хотел... — пробормотал Сергей Петрович.

— Нет, нет, это вы меня простите...

Они помолчали несколько мгновений. Женщина закрыла журнал с записями и оставила в руках только один листок с рекомендациями. Протянула листок Готову:

— Здесь всё написано, если боль не начнёт спадать, то вызовите на дом врача.

— Спасибо, — он взял листок. — Вы про костыль говорили?

— Да, конечно, сейчас, — доктор встала и подошла к двери в маленькую боковую комнату, где хранились различные медтехнические механизмы и предметы.

— Да, так вот, тот человек, он мне сказал тогда про боль, что она всему живому дана для пользы тела, чтобы стремиться быть здоровым, но не больным. Потому и одного корня боль и болезнь. Человеку же дано переживанием боли укрепляться в милосердии, в бережном отношении ко всему миру, ведь если человек миру и людям несёт боль, то сам становится одного корня с болезнью. И ещё он сказал, что самое главное в другом. Самое главное в том, что и радость, и любовь даны для того же укрепления в милосердии. Только они даны человеку по факту, исходно, даром, а боль дана для разумительного укрепления. Потому радость и любовь нельзя найти, их можно только потерять. А боль всегда приобретается.

* * *

Позже Сергей Петрович ошарашенно вспоминал этот разговор, словно какое-то небесное предупреждение, но было это уже после всего самого болезненного и большого, что ему когда-либо пришлось узнать. Всё шло своим чередом, но в один день мир Глотова рухнул. В тот день Готов умер и родился какой-то другой мир, в котором предстояло учиться жить и говорить заново. И делать это предстояло уже не тому прошлому Готову, но какому-то иному Сергею Петровичу, который лишь частично совпадал с прошлым человеком. И этот новый человек даже не понимал, то ли он хочет помнить это совпадение, то ли хочет всё напрочь забыть.

Глава 6

«Первое правило бизнеса — защищайте свои инвестиции»

Клайд Монро, «Этикет банкира», 1775 год

Сергей Петрович настоял, что в медтехнику поедет выбирать коляску лично. За рулём и в качестве сопровождающего назначили зятя Игоря. Муж дочери был сдержанным молодым мужчиной и к делам всегда подходил ответственно, потому заранее освободил утро и предварительно узнал ближайший адрес аптеки-медтехники.

Внутри было тесновато от рядов костылей, инвалидных ходунков и колясок. Аренду оформлял взрослый с проседью и умным лицом мужчина в медицинском халате и одноразовых перчатках.

- На какой срок?
- Да это мне не сказали. А какой срок обычно берут?
- Можно на неделю или по месяцу, с продлением, в случае нужды.
- Давайте, наверно, на месяц.

Пока Глотов выбирал, выяснилось, что мужчина-продавец по первому образованию филолог и к тому же с довольно жёсткой жизненной позицией.

– Знаете, я два года тому, — продавец махнул неопределённо кистью руки куда-то в сторону и вбок, — на лыжах катался и сильно ногу переломал. Знаете, так как-то на пустом месте всё тогда получилось. И лыжня в сосновом леске ровная была, накатанная, и вроде никуда не разогнался, а вдруг раз, и в сторону вильнул, а там резко вниз. В общем, как-то забалансировался, что ли, а сам и не ожидал. Так перевернуло и какое-то дерево под снегом, и кочки, и всё подряд. Да, так вот и выходит хуже всего, когда на пустом месте-то.

– И долго заживала? Нога в смысле?

– Да больше полугода в коляске перемещался, руки даже подразмывал заметно, а вторая нога совсем слабой стала без обычного движения. Зато время было подумать, книжки прочитать, которые всё никак не мог собраться раскрыть. Да порой думаешь, что лучше бы и не думал.

– Что же так?

– Так ведь сами посмотрите. Если время подумать появляется, то первое, это назад оглядываешься. Ну, конечно, если ты человек взрослый. По детству-то позади нечего смотреть, одно впереди, потому и к стати определить можно, взрослым стал человек или всё в пятьдесят как подросток инфантильный рассуждает, фантазирует, вместо того чтобы оглянуться да порассуждать о прошедшем.

– Да уж, здесь согласен, о прошедшем крайне продуктивно вспоминать, чтобы на будущее хоть как-то чётче планы строить. Хотя, на мой взгляд, здесь вообще человек взрослый должен иногда так рассуждать и без вынужденных остановок, как бы по факту жизни.

– Должен-то должен, только не всегда хочется, а тем более, когда за спиной всеобщие ужасы вроде наших девяностых. Я пока на больничном сидел, так начитался этих новых разномастных сочинений, что тошно стало. Оказывается, всё, что осталось от 90-х, это разочарование, которым сегодня благополучно приторговывают в печатном виде. Как сказал один мой знакомый литератор, почти главред одного известного литературно-журнального толстяка: «Если в лихие 90-е было поступком ходить с панковским хаером на голове, то сегодня огромный поступок — это быть приличным человеком». Сегодня, увы, серьёзность не в тренде. Это я о литературе вообще и о литераторах — в частности. Вы уж мне как филологу поверьте, именно так сейчас и оказалось, и происходит. Хоть в этих всех новых книжках, хоть в интернет-статейках с претензией на художественность — всё одного поля полупокерная недокультура. Нет, разумеется, все очень серьёзно готовы разговаривать сами с собой, что делает большинство «литературных» произведений очень похожими на историю психической болезни автора. Но все взгляды в 90-е, это, как правило, подглядывание за чужим сумасшествием, это очень серьёзное занятие для психиатрии. Настолько серьёзное, что, в общем-то, больше и не о чем прочитать.

– Честно говоря, я с институтских времён практически перестал читать всю эту художественную литературу, да и специализация у меня иная, историческая. Так что в основном приходится читать образовательные отчёты или в лучшем случае документалистику.

– Так это же вас, наоборот, спасает от всего того художественного бреда, что несут сегодня те, кого называют литераторами. Для какой-то части смакующих психиатрическую ахиною чтецов можно даже ввести новый термин «читатель-извращенец», который из мутных 90-х. Но само слово «вести» уже возможный мысленный повод для извращения, поэтому даже и непонятно, какую манипуляцию с новым термином необходимо производить, чтобы выглядеть приличным человеком. Скоро дойдут до того, что в такой реальности, единственное «вперёд», которое подразумевается помимо интернет-подвигов, это вперёд с палкой (гранатой, автоматом, танком) на себе подобного.

– Ну, так это как раз самое распространённое явление в человеческой истории, когда друг на друга словно дикие собаки бросались, то по одному, то целыми государствами. Скажу вам больше, не хотелось добавлять мрачных тонов, но приходится и мне порой задумываться о чём-то таком, как вы сейчас говорите. Правда, мне казалось, что это так, с возрастом становлюсь как бы ортодоксальнее, что ли, ан нет, значит, не зря мне казалось, что все эти «документально-исторические» романы, что написаны в последние десятилетия, они же несут такую чушь, что даже стыдно сказать. Помню, как прочитал в юности что-то из Тургенева или Бунина, тоже, конечно, не без нюансов, но

сегодняшнее — не более, чем смакование каких-то пошлостей и полоскание «положительных» героев в бюрократическо-архивных сливах.

— Вот-вот, и я вам о том же. Они же и романы начали такие сочинять уже, про якобы свои героические воспоминания. Кто на что горазд, но всё стараются очевидцами, участниками, свидетелями себя намеркнуть в мелочных и никчёмных деталях. А ведь всё на самом деле просто. На самом деле, все приличные воспоминания из 90-х, если по-честному, больше похожи на присыпанные пеплом мифы, от которых попахивает пороховой гарью, бандитским потом и липкими мыслишками выкрутиться, выжить во что бы то ни стало. Современная цивилизация давно стремилась избавиться от дух чувств — вины и ответственности за свои поступки, а самый простой способ — стать ближе к животному. К животному, которое не испытывает сомнения и раскаяния. Писатели сегодня вам расскажут — ага, ждите, размечтались. Писатели сегодня, это те самые липкомыслящие в 90-е, желающие выкрутиться и выжить. Вот от них-то меньше всего и стоит ждать оценок, знаний и ответа за слова. Все эти авторские «смелости» и «подвиги» не имеют ровным счётом никакой ценности в смысле человеческого, все они суть первобытный страх и ненависть к «другому», и это в лучшем случае. В худшем, это стремление оправдаться, создать героический эпос, где кто-то несчастный выживал, а кто-то за что-то там боролся (кто и за что — всегда мутно и двусмысленно). Мой дед, он прошёл Курскую дугу, но 90-е не пережил. И марафть бумагу об этом ему бы в голову не пришло. И друг деда — дядя Ваня, участник Сталинградской битвы — его в 90-е обокрали два наркоши, забрали все награды. А когда он вызвал наряд, то никто не приехал. Он пришёл к ним в отдел, и ему сказали, чтобы не приходил с такой, простите за выражение, хернёй, потому что на улице стреляют и это важнее!

Мужчина-продавец, видно, давно размышлял на данную тему, но вот собеседника ему случиться, видимо, не приходилось. Есть такой тип людей, что будет болтать на заданную скандальную тему так же легко, как говорящие болванчики политических и прочих телешоу. Здесь же было что-то такое, что заставляло Сергея Петровича ярко переживать диалог и участвовать в нём всей душой. Продавец, очевидно, говорил от какого-то внутреннего отчаяния, словно сам хотел вырваться из этой открытой бездны знаний и пониманий:

— О, невероятно, одуреть (и прочие «еть») и не вставать, эти ничтожества тряслись за жизни таких же ничтожеств. Одни стреляли, другие липко прятались по углам, чтоб потом строчить «героический эпос», третьи пилили на цветмет памятники вождям. А посередине всего стоял старый дед, участник Сталинградской — для меня подростка просто дядя Ваня — он стоял и плакал. И мне, да, именно мне лично тогда стало так стыдно, как последней твари, как никогда в жизни стыдно не было — за всё это безумие, за то, что 90-е показали всю мерзотность моих сограждан и меня самого, за то, что обокрали старого деда, но трясутся за свои никчёмные жистёнки, за то, что мой дед прошёл Отечественную, а 90-е не пережил. Вот такой стыд, это и есть 90-е, и больше ничего сочинять здесь не надо — будет только лакированный миф, которым сейчас все выжившие оправдываются. Потому что лучше бы мы все тогда с неба камнями были засыпаны, чем так оболгать себя, свою страну, свою историю и своё настоящее.

Мужчина немного сбавил ритм речи. Казалось, что у него заканчиваются человечески понятные слова, а освобождения так и не приходит. Может, оттого завершение его мысли прозвучало с отчётливой грустью:

— Вы не подумайте, я же и себя не вычёркиваю, я же тоже часть этого «мы». И именно потому мы все сегодня так зациклены на себе, на своих никчёмных рефлексиях. Нам не нужен никто другой, нам нужна чистая совесть, только вот после 90-х нет никого в России с чистой совестью. Все — господа и дамы, рабочие и крестьяне, власть и народ — все повязаны и сейчас активно пытаемся отмыться. И никакой другой человек нас не интересует, мы все сами по себе. Любопытство и осознанное желание знания, интерес к неизвестному, к другому — это именно человеческие качества, но здесь и начинаются неудобные нюансы. Ведь с желанием узнавать другого, иного, не такого, как ты, приходит чувство ответственности, приходит ощущение ценности не только себя любимого, но и другого; не только своего любимого-уникального мировоззрения, но и другого. Это действительно подвиг, который может совершить только человек, так как речь идёт о подвиге духовном. Но нам до человеческого опять довольно далеко, ведь были 90-е. И такая вот плюралистически-толерантная как бы реальность как бы приличных людей, которые как бы жили в фактически-конкретные 90-е.

Так вот с этим и живём на теле культуры в виде писчих-бюрократов и читателей-извращенцев, приторговывая вдохновением и грязным письмом, а то и просто приторговывая.

— Да уж, приторговывая, — эхом повторил Сергей Петрович с немного вдруг отсутствующим лицом, как будто проговорил мысли вслух.

— Коляска, — вскинулся продавец. — Мы же коляску так ещё и не выбрали. Вы уж

простите меня, разговорился что-то, видно, накипело, — виновато улыбнулся мужчина.

— Да нет, ничего страшного, всегда приятно поговорить с умным человеком, — Гловатов впервые бросил взгляд на бейджик. — Сергей, тёзки значит. Очень приятно, Сергей Петрович, — Гловатов протянул продавцу ладонь для пожатия.

— Сергей Яковлевич, — продавец пожал руку. — Вы уж и здесь простите, эта современная мода на бейджике одно имя без отчества писать, какое-то запанибратство безотцовское, наверное, признак эпохи, этакое безотчествовое, как без отчества, состояние. Вам как историку это наверняка особенно понятно.

— Это уж точно, имена без отчеств, совместное проживание без супружества и... — Гловатов покачал головой, — катимся, катимся, а всё куда-то никуда.

Глава 7

«Толерантность (от лат. tolerantia — способность переносить, терпеливость) в фармакологии — способность организма переносить воздействие определённого лекарственного вещества или яда без развития соответствующего терапевтического или токсического эффекта»

Энциклопедический словарь медицинских терминов

— Да как так-то? Как так? Как так-то? — Сергей Петрович сидел за директорским столом и смотрел на столешницу перед собой. Справа лежала телефонная трубка, где на том конце провода шли короткие губки. — Как так-то? Как так? — этот вопрос он повторял в каком-то ступорном недоумении, то ли слова звучали в голове, то ли проносились вслух — это сейчас было не то чтобы неважно, а скорее равнозначно бессмысленно.

Вокруг вились остатки только что произнесённых слов, эти остатки витали по кабинету пепельными хлопьями и оседали внутри груди Гловатова жгучим кислотным осадком. Казалось, что душа разъедается острой уксусной болью и ползёт рваными дырами, трещит по швам:

— Трагическое известие... к сожалению, не удалось... и пассажиры, и водитель белого минивэна... погибших на месте...

Так-так! Так-так, так-так, — оказывается кабинетные настенные часы стучат неизмеримо громко и чётко, до рези в глазах. Или это стучат часы наручные? Сергей Петрович не видя времени посмотрел на запястье, опять опустил руку. Зачем-то вспомнилось, что эти часы Галина подарила ему на двадцатипятилетие их свадьбы.

Когда же это было, года два или три назад? Да, точно, три года. Дочка тогда ему ещё сказала что-то приятное про солидность и признаки делового человека... Да, да, точно, три года тому назад. Они на даче всем семейством тогда собрались, август выдался свежий и яркий, комаров совсем не было, даже мошкары не было в тот год... Да, да, точно, точно, на даче... Оленька, доченька, замужем за Игорем сколько тогда, лет десять уже была, кажется, или одиннадцать? Да, побольше десяти, точно, точно... Галина моя тогда ещё смеялась, что вот и у неё доченька к десятилетию замужества уже в школу пошла. Оленька всё смущалась, а Игорь улыбался, шашлык поправлял. Да, да, точно, Игорь как раз шашлык поправлял в этот момент... На даче тоже были... Как сегодня собирались...

Так-так, так-так, так-так, — часы стучали всё настойчивей, всё назойливей.

Да что ж такое-то, может, в ремонт их надо, что ж такое-то... Гловатов посмотрел ещё раз на запястье с часами: 12 часов дня, они как раз на пригород выехали, а что там, там же спокойно?! Как так-то?

Так-так, так-так, так-так, — уксусная кислота проела всё насквозь, и оглушительно рухнула правда. Голова стала ясной, свет, попадавший в глаза, был жаркий и сухой. Душа трепыхалась тонкая, обожжённая и контуженная правдой. Тело продолжало переваривать завтрак, лёгкие продолжали вбирать кислород, и кровь исправно посылала его по всем уголкам организма. Оказалось, что тело живёт в совершенно иной плоскости бытия, где есть повседневные механические задачи для выживания, и эти задачи максимально стремятся быть выполненными.

Сергей Петрович неожиданно испытал всеохватывающую благодарность к телу за то, что оно не подводит сейчас, но была в этой благодарности и какая-то горькая нотка иронии, ложечка дёгтя. Что это за песчинка, разрушающая такое, казалось бы, жизненно необходимое чувство благодарности, что это за пылинка на чистом объективе реальности?

«Да, да, точно, вот оно, — мелькнула безумная радость открытия, — это же ясно, что они все теперь, Галина, Оленька, Игорь, они теперь не так, как я, им тело теперь

поддело, а я? Я вот он, живой, завтрак перевариваю, живой, а они... То есть как так-то, как мне теперь вот это всё?! Я же предатель, получается, не с ними получается. Я же сам отказался с ними ехать, решил к вечеру, чтобы они там уже были, ну и думал, что как-то вот по делу здесь, а к вечеру буду. А теперь где я к вечеру? Где они?»

Утром Глотов договорился по поводу демонтажа углового «кирпичного недоразумения» и после обеда ждал приезда специалиста — оценщика процесса деликатной разборки современных кирпичных кладок. План был прост и гениален, как любая мошенническая схема развода. По документации пройдёт не просто демонтаж, а укрепление цоколя школьного корпуса из собственных материалов. Причём на освободившемся углу запланирован цветочный вазон, обоснованный в документах как психологически полезный для создания позитивного настроения учеников и преподавательского состава, а также визуально презентующий экологически чистое пространство школьного двора. Фокус заключался в количестве и качестве затраченного на укрепление цоколя кирпича, который, на самом деле, был обнаружен за гаражами школьных автобусов в виде заброшенной кучи от какого-то строительства времён лихих российских лет конца двадцатого века. Кучу откопали и аккуратно сложили на заднем дворе с помощью учеников в рамках летней школьной практики по благоустройству территории школы и участием школьников в общественно-полезном мероприятии. Так появился базовый кирпич для мелкого строительного плана Сергея Петровича Глотова.

Какой теперь план? Какой вообще у всего этого может быть план, кроме неожиданных горьких изломов, где перемалывается и перелатывается вся жизнь. Вся эта череда случайностей, без плана и непонятно зачем вообще происходящая. И где теперь все? Где все поколения, где все мои люди, какой план может так устроить, если ничего не устроено? Это же садизм и бездушие, тупой локомотив истории и никаких направлений, только перелопаченные человеческие жизни. Зло в самом натуральном виде и есть безличное и безразличное смирание человека временем, а всё остальное — случайные способы убийства. Бог здесь как-то хоть понятен становится, если верить, что он такой любящий и помогающий. Бог просто необходим тогда человеку, только вот всемогущим вряд ли божество может быть одновременно с всепомагающим, а то ведь и с ума сойти можно. Так хоть психически легче становится, психотерапевтически понятно и успокаивающе.

«А если нет ничего, я же как теперь жить тогда смогу? Как мне теперь утром просыпаться и вспоминать, что нет никого, а я остался? Нет, нет, так невозможно быть. Даже думать не хочу, пускай лучше там что-то есть, пускай неведомое и невидимое, но есть. Пускай они там, да, да, пускай они там. Пускай они там будут, да, да, да, пускай только там будет, а то как мне здесь быть остаётся. Пусть будет им, пусть будет им, пусть будет им...» — губы Сергея Петровича произвольно шевелились, и последний раз он произнёс фразу «пусть будет им» вслух. Что она означала, он вряд ли мог сейчас объяснить внятно и чётко, но почему-то эта фраза казалась ему самым важным открытием, утверждением, законом, опорой мироздания, и этого не надо было объяснять, толковать, а надо было просто верить в это и жить с этим.

Он поднял голову и посмотрел на настенные часы, часы пробили полдень.

Глава 8

«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь...»

Мф. 7:14

— О России они всё думают. Ага, издумались прямо все, беденькие такие, спать не могут, всё Россия, да Россия одна на уме. Твари, лучше бы вы вообще про Россию не знали никогда, уроды обожравшиеся. Чтоб вы сдохли все, думами своими подавились чтобы! — женщина истошно орала прямо в микрофон журналиста. Лицо её перекосилось, из глаз брызгало то ли злыми слезами, либо просто летел в камеру встречный мелкодождевой фронт. Из-под шапки интервьюируемой выбилась прядь волос, и правильные черты лица от этого негармонично выбивавшегося на ветру локона казались ещё более правильными.

На тумбочке завибрировал и затрясся в агонии мобильный телефон. На экране светилось «Настя». Сергей Петрович приглушил звук телевизора:

— Да, внуча, привет. Да, дома, я же сегодня отдыхаю... Да, все хорошо, нет, чувствую себя хорошо, я же говорю, выходной сегодня... Конечно, внуча, приходи, конечно. Ладно... Ладно... Хорошо. Ты покушаешь, пирог есть, я вчера вечером сделал, который с нашей вишней, любимый твой. Давай, приходи, жду, я пока чай поставлю.

Последние годы внучка немного напрягала Сергея Петровича своим увлечением

церковью. Она стала ходить практически на каждую службу в ближайший храм, при котором, как нарочно, находился женский монастырь. Настя даже обучилась в звонарской школе и совершала звоны при храме. Теперь, когда Готов слышал голос монастырской звонницы, то знал, что это исполнение его внуки.

Но всё это лирика, считал Сергей Петрович, и не более, чем увлечение внуки. Правда, увлечением она сама никогда своё занятие не называла и потому всё больше вызывала у деда опасения. Он много слышал различных историй, когда люди с головой ударялись в чтение религиозных книжек и уходили из семьи, бросая всю нормальную жизнь, начинали заниматься не пойми чем. На фоне подобных настроений заявление внуки о желании стать послушницей монастыря прозвучало как сбывшиеся самые худшие ожидания.

— Милая моя, ну что ты такое говоришь, какой монастырь, это тебе, наверное, внушил кто-то. Ты не верь всему подряд-то, там же таких молодых и обрабатывают на раз-два. Ну, сама подумай, какой может быть бог, если давно уже весь мир изучили. Всё известно уже давным-давно, и откуда человек, и почему космос такой, и всё в атомах до мелких деталей уже известно. Где здесь богу место, зачем он вообще нужен, кроме как для фантазирования, ты же в школе, в университете училась, там всё понятно же про мир объясняют и показывают.

— Деда, что ты такое говоришь-то, при чём здесь университет. Про соперничество же там не изучают ничего или про любовь, вот для того и Бог.

— Внуча, моя хорошая, ты меня послушай, пожалуйста, я жизнь прожил, зря говорить не буду. Всё это тоже наука давно объяснила, психология, а где надо, там и психиатрия.

— Кто же тогда всем управляет, миром этим и всем остальным?

— Жизнью своей человек сам управляет, а остальное, это же физика, в школе ведь основы каждому преподают. Солнце ещё всем у нас управляет, а у других — другие звёзды, а всеми вместе управляет время, и больше ничего сильнее быть не может.

— А когда нет звёзд, и времени когда не было, и когда не будет, то кто тогда там всем управлять останется?

— Никто там не останется, потому что нас не будет, а значит, и некому про это всё рассуждать. И вообще, я запрещаю тебе даже думать про эти все монастыри и прочее мракобесие, вон как голову тебе задурили. Хочется их компании, можешь иногда сходить, посмотреть там, попеть с ними даже можешь, а всё остальное не позволю, даже не начинай таких разговоров, пожалуйста. Только расстраиваешь меня на старости лет. Тебе замуж пора, о детях думать надо, а ты всё какими-то второстепенными дурями маешься.

— Деда, мы уже с тобой тысячу раз об этом говорили. Замуж ходят по любви и расположению, а не для «потому что так принято».

— Ну, ты хоть меня, деда твоего, пожалей, ведь я же о твоём счастье беспокоюсь.

— Деда, — она обняла его. — Моё счастье мы и обсуждаем.

— Внуча, я ничего не понимаю порой, может, я чем-то судьбу рассердил, за что мне такие испытания. Вот и ты от меня уйти просишься, — Сергей Петрович с тоской посмотрел на Настю. — Знаешь, мне тогда казалось, что ничего не может быть хуже той аварии. Так вот за раз всё оборвали и не спросили никого. Разве так можно, разве это по-человечески так оказаться? Но там никто и не спрашивает, когда так отнимают у тебя, а сейчас ты сама просишь меня согласиться, — он отошёл и сел на диван, поглядел на свои руки и положил их на колени.

— Деда, — Настя присела рядом. — Прости меня, деда, прости.

Сергей Петрович недоуменно проговорил, словно сам с собой:

— Смерти, её же не пережить, я с этим и пробую разобраться, а всё никак не получается, — они замолчали, а на столе поднимался пар над двумя чайными чашками и вишнёвый пирог багровел на разрезе.

Глава 9

*«Но бугут обитать в нём звери пустыни, и горы наполнятся филинами;
и страусы поселятся, и косматые бугут скакать там...»*

Ис. 13:21

«Вот мы говорим: молодец, какой хороший священник, какой замечательный настоятель, какой активный епископ! Как они хорошо построили новую церковь здесь, восстановили разрушенный храм там, как помогли сиротам вон там, как они, молодцы, как это всё здорово делают! Мы словно бы замещаем социальное служение, мирское — священниками, делая это чем-то из ряда вон выходящим, важным настолько, что абсолютно забываем простые, очевидные вещи. Священник дал обет служения и

любви к ближнему, потому что сказано же, что сделаешь ближнему, то сделаешь Богу. Благословлять по благодати своей принятой, а по обещанию своему он просто обязан творить милостыню. Это его прямая обязанность и это то, что он обязался делать независимо от страстей сердца, а лишь по факту своего священнослужения.

Но самое-то главное — другое. Какая благотворительность, какие храмы, какие приютские, сиротские дома могут получиться без средств на содержание и храма, и дома приютского, и любой жертвы?! Да никаких! А где эти средства, кто их дал? Священник? У него нет средств, у священника нет никаких денег, он не несёт никакую государственную службу. И даже если он работает на какой-то разрешённой для него работе, и даже если всю зарплату он жертвует на храм (покажите таких, много ли их будет!), этого явно недостаточно для возведения и содержания храма, школы, приюта. А те редкие исключения, когда мирской заработок законен и позволяет возводить храмы, они только подчёркивают правило, что земная церковь стоит на пожертвованиях, на жертвователях. Жертва в основе всего главного. Жертвенность!

Так разве не рука дающего лежит в основе благотворения? Конечно же так! Христос говорит о вдове, внёсшей лепту, а не о священниках, которые распределили эту лепту как положено. Да, священник организовал процесс, ну так и слава Богу, так он несёт свою службу, в том числе и в этой части. Но основная его служба — это богослужение, это очевидно. Основная его служба — это евангельская проповедь, и это очевидно. Основная его служба — это имя Христа!

Но часто почести, награды за возведённые церковные здания и прочее, они отдаются как что-то самое важное в деле священнослужения. При том при всём весь приход церковнослужителей целует ноги священнику, настоятелю, совершенно забывая о тех, благодаря кому этот приход стоит. Вот это совдеповское чинопоклонничество, а может, даже ещё дореволюционное, времён Екатерины Великой, Петра или Ивана Грозного, это мерзостное человеческое угодничество, оно превращает в мерзость любое благое дело. Так где же во всём этом тот, кто даёт благо? Где всё это? Да и ноги им целовать, это доброе дело? Доброе дело понимать и стремиться не к почестям от мира сего, а к вере в деле служения.

Ведь на самом деле бабушка, пожертвовавшая десять рублей за свечку и бизнесмен, пожертвовавший десять миллионов на строительство церкви, — они в тысячу раз больше лежат в основе благотворительности, чем тот, кто организовал процесс. Ведь организатору Бог только доверяет людей, которых Бог же и приводит. Или неужто священник в здравом уме будет считать, что это он своим радением всё делает, неужто здравый смысл говорит священнику, что награды земные важны? Пускай вспомнит такой заблуждающийся о страхе божьем, а то как бы не пришлось оказаться в ситуации, когда тебе потом скажут у дверей Царствия Небесного: «Друг, разве ты не получил уже своих наград на земле? Царствие теперь тебе не может быть наградой, иди, дитя, куда сам решил, ибо стяжал ты себе земное вместо небесного».

Забывающий жертвователя и чувствующий себя священник, он забывает, что без руки дающего не будет никаких средств на строительство храмов, не будет никаких средств на жизнь прихода, не будет никаких продуктовых пайков и наборов для многодетных семей, не будет средств для существования семьи священника. Не будет средств для существования земной церкви вообще!

Так почему же многие приходы облизывают настоятеля, приписывая ему все построенные храмы? Ну, конечно же, потому, что это людское заблуждение, лицемерие, лизоблюдство, поджатие хвоста и обнюхивание под ним друг у друга, невежество, зависть, тщеславие и всё подобное, по заблуждению ума приписываемое для нужды, для якобы блага церкви. Да не будет никакого блага на таком фундаменте, запустеют и рухнут такие приходы и храмы, не устоит такая церковная хозрасчётная жизнь, да и жизнь ли это, или только большой спектакль про жизнь?

Угодничество и чинопоклонение лежит в основе этаких иллюзий то ли жизни, то ли деятельности, то ли активности, тут от названия суть не меняется, ключевое слово — иллюзия, дьявольское наваждение, морок. Всё что угодно лежит в основе такого, но никак не евангельская проповедь. И не надо обманывать ни кого-то другого, ни себя самого.

Где скромность, где смирение? Монашка, шикающая в церкви на молодую девушку, вошедшую в храм без платка, или на парня в шортах — да кто ты такая, чтобы шикавать на чадо, которое привёл Господь в свой дом? Они, может, впервые пришли, потом научатся, но если сразу их выгнали, то на ком грех-то за то лежать окажется, на выгнанных вами, что ли, или на вас, изгонятели собираемых Господом в своё стадо овец? Одуматься пора уже, так ведь недосуд всё.

Где любовь Христова? За улыбочкой стоит презрительный взгляд сверху вниз. А все эти постсоветские матушки, которые от внешнего становятся напыщенными, которые такими собой церковь порочат, а ведь они просто жёны, хоть и священников. Отчего

такая жена священника любит почести и чтобы называли её «матушка», да так, чтобы с почтением и с заглавной буквы. Вы посмотрите, что творят такие, как себя ведут! Хамки, самодурки, бабы, наглые, невоспитанные и совершенно несдержанные, поучающие всех направо и налево, даже священников, даже епископам делающие замечания к месту и ни к месту.

Пойдите зимой в церковь, там, где карантин или напасть другая заразная, хоть и в столице златоглавой нашей, попробуйте перекреститься в перчатках. Добро, если храмовые христовы люди смиренные и тихие, а то ведь тут же подскочит из-за угла бабка-чернушка, забормочет, заругается, что так креститься нельзя. Да так скажет зло, что испугаешься, что встать и уйти поспешишь и не возвращаться в этот московский монастырский храм, хоть Николы он Чудотворца, хоть вся улица колоколами иззвонится. Старуха словно выгонит человека из храма одними своими словами раздражёнными. И не нужно здесь промысл Божий превращать в яичницу, объясняя промыслительным любой свой чих и крик, а то так и про лукавство забывается, всё своё греховное начинает прямо-таки святым казаться. Уж совсем не ладаном и мирром пахнет такая святость.

А кто мы такие, когда человек пришёл к Богу, в храм пришёл, когда Господь привёл в храм Свой человека? Девушку в джинсах или парня в шортах. Да, конечно, нельзя это понимать как что-то постоянное, но если они впервые, может быть, второй-третий раз так пришли, ну, так их привёл Господь. Они сами потом всё поймут, они сами потом всё узнают от нас, они сами потом станут делать так, как должно. Кто ты такой, чтобы гнать его сейчас?! Кто ты такой, чтобы в храме Божьем делать такие замечания? Как не стыдно тебе, книжник и фарисей, лицемер с окамененным сердцем, не об этом ли говорил Христос?»

— Такая вот проповедь, а ведь бывают слова и того резче, — Сергей Петрович выключил экран смартфона.

Отец Андрей вздохнул и с какой-то, что ли, жалостью, что ли, усталостью посмотрел на Глотова:

— Так и живём. Так и мечемся мы в этой нашей то духовности, то лицемерии, то в любви Христовой, то в каком-то диком поклонении идолам и угодничестве людским чинам. Страшно, страшно, когда подвиг духовный подменяют чинами человеческими. Страшно становится не только за мир вообще, не только за страну, за Россию, не только за православие, за себя лично становится страшно, ибо ты тоже становишься причастен к этому, ибо ты тоже часть этой мерзости.

Но спасаешься тем, что надеешься, что ты тоже причастен и тоже часть не одной мерзости, но и любви Христовой. Как порой быть и жить дальше — непонятно, но как-то живём. Каждым, кто превозмог своё болезненное, земное раздражение, каждым, кто раздражённым не отпугнулся, а человека в человеке увидел, каждым, кто грех возненавидел, но человека за грехом любить не перестал, вот таким каждым и живёт церковь, так она в трудах да горестях восстанавливается из уничтожения.

Батюшка помолчал и добавил:

— Понимаете теперь? Если и сейчас не понимаете, то может, уже и не поймёте, потому как всё вам сказал необходимое. От себя своё горевание и уныние, злоба и раздражение от себя самого тебе только и могут быть, и наперёд всё, с чем будешь, наперёд всё твоё также станет и от тебя твоё всё зависит. Дураками, может, люди и рождаются по чьему-нибудь легкомысленному убеждению, но это только когда на такое младенческое блаженство по-дурному смотришь. Да вот приобрести себе дурного за жизнь, это часто бывает, здесь всё так и есть. Вот только помирать с дурной головой страшно. С дурной по злобе и темноте духовной, а не по сути нашей, ведь суть так и сказано, что по образу и подобию, так разве образ Божий может дурным или тёмным быть, когда любовь в основе-то? Вот и жить сейчас совсем не советую с дурным накоплением, а уж умирать-то тем более. Да и в сердце пускай лучше печаль будет у человека, чем горечь, лучше жалость и молитва, чему уныние и недовольная жалоба.

Разве не поняли вы, Сергей Петрович, что всё сами себе собираете, сам вы и есть только строитель, но уж если строитель, то от первого камня до последней черепицы на куполе. А краеугольным камнем только Божие и может быть, либо всё на зыбком песке человеческой мелочности.

И рухнет тело в землю, прахом станет, а вы так и останетесь без краеугольного, то есть без ничего. Ведь кто вы такой, как и кто такой я, чтобы чадо из храма изгонять, чадо, которое Господь привёл и спасёт, может, через него всех причастных, всех погибших, всех не мёртвых, но живых. На ком грех будет за вас, кроме как на вас самом, против рожна идёте ведь, когда дитя не пускаете, вот оттого и плохо вам, оттого и церкви с вами плохо и горько мучиться остаётся, а надо-то радоваться. Нет у меня большае вам других слов, вы всё услышали, как решите, так вам и будет. И простите за слова тяжёлые, не обидеть вас хочу, но прошу милости только к себе, к людям, Хри-

стом Богом прошу.

Отец Андрей коснулся своей груди. На нём была рабочая куртка, но будто рука удержалась за то место, где обычно висел священный крест, потом провёл этой ладонью по воздуху, благословляя, как будто положил мастерок цементного раствора над головой Сергея Петровича и, повернувшись, зашёл в столярную мастерскую.

— Ну что, работники, потрудимся на славу Божию или как? — услышал Глотов слова батюшки, обращённые к пацанам в столярке, и дверь в мастерскую закрылась.

Глава 10

*«...Там голосистая калитка
в стене дождя...»*

Глеб Горбовский

Капли мелкого сыпучего дождя врезались в лобовое стекло и под напором встречного воздушного потока пытались проползти по стеклу вверх, оставляя за собой короткую влажную дорожку, но дворники смахивали их, оставляя чистое поле ветрового стекла. Жизнь капли равнялась тому влажному отрезку, что успевал остаться за мокрой её спиной, пока и капля, и отрезок не стирались очередным взмахом дворников. В этом действе содержалась вся философия фатализма, но, в то же время, оно вызывало необъяснимое чувство сопереживания капле, даже какую-то тёплую волну любви.

Сергей Петрович смотрел, и губы шевелились в полуслышном то ли с самим собой разговоре, то ли обращении куда-то в непроницаемое направление, к собеседнику такому немислимому, что и слова-то оказывались только костылями, опорными ступенями для восхождения к порогу главного всечеловеческого дома:

«Возлюби ближнего своего, но сделай это так, как бы ты возлюбил себя. Ты мой ближний, я — твой. И нет у нас больше никого кроме нас. Наверное, так и случается немислима простота человеческой печали. Наверное, так происходит в каждом человеке радостное тепло жизни... Какая чепуха, как всё это литературно звучит. Господи, я же раньше и не замечал даже всей этой нашей литературности, всё говорим, говорим, а как-то голо, пусто всё. Возлюби. Ближний. А кто мой ближний-то? Так ведь я же и есть первый ближний для себя, а то ведь и единственный. А ведь так хочется, так во мне сидит это крепко, чтобы вот был кто-то, чтобы не один я был, а то ведь совсем страшно жить-то, да и умирать страшно, когда нет никого.

Сердцу доброты без толку оказывается иметь, если нет никого. Умное сердце должно быть, мудрость в нём какая-то важная должна быть. Головным-то умом оказывается одна амнезия для всего человеческого или безысходность одна депрессивная, а печали-то ведь совсем никакой и нет в голове. Печаль-то вся в сердце и ум там тоже весь главный оказывается. И помнит сердце ведь то, что и стоит одно помнить. А всё постороннее в голову складывается, как на чердачные полки, где и полезное найти можно, но в основном оказывается один хлам да ветошь, а что не ветхое, то таким всё равно становится, всегда становится.

Печаль разве может в сердце быть ветхой, тоска разве становится обветшалой, они же только крепче оформляются, в значительном только сохраняются в самом. А иначе совсем ничего быть не может, иначе зачем тогда я — человек здесь, и зачем всё это, которое потом. Должно же оно быть, это потом, обязано просто быть!

Не может быть такого, что всё это топтание на пяточке, все эти шестьдесят — семьдесят лет и были всей жизнью. Не может так быть, дешёво это так. А разве печаль моя, она дешёвая сейчас. А тоска моя по моим, разве нет их, разве они вот это всё здесь и всё? Вот мир этот весь, который внутри сейчас, он же огромный, я сам конца и края его не знаю, так разве это всё ради нескольких десятков лет? Нет, если бы так, то и огород городить не стоило бы. Есть что-то больше, чем глазами сейчас вокруг вижу, оно обязательно должно быть!»

Он остановил автомобиль и вышел на мокрую от дождя дорогу, хотя, может, это был и не дождь вовсе, а мировые слёзы, а то и просто солёный океан человеческой печали. Вспомнились слова школьного батюшки.

Они в последний раз встретились с ним в коридоре третьего этажа. Школа уже закончила свой рабочий день, и во всём корпусе оставался только охранник внизу и директор наверху. Сергей Петрович теперь задерживался до конца рабочего дня, а то и оставался ещё на пару лишних часов, потому что дома никто его не ждал, кроме невыносимой памяти окружающих вещей. Иногда всё же необходимо было отдышаться, и тогда дома Глотова мучили то одиночество, то злоба на несправедливость мира, то нечто сосущее внутри, что-то зовущее или забытое, может, незавершённое.

Такое мучение изводило Сергея Петровича, и потому, увидев батюшку, он не подумал даже спросить о причине его пребывания в школьном здании в столь поздний час. Нет, он тогда разразился упрёками к церковникам, высказал все обиды за внуч-

ку, которой, по его мнению, задурили мозги. И под конец, гордо уверенный в своей непоколебимости, ожидал почему-то, что отец Андрей начнёт тихо и слабо говорить про разные любви и слабости, про молитвы и ритуальные заклинания. Но священник ошарашил Сергея Петровича своими словами, и это была та правда, которая только и смогла стать проповедью, а не критическими упрёками для больного сердца старого директора частной школы:

«Плохо сегодня церкви, может, даже хуже, чем раньше случалось, и вы туда же? Тоже изгонителем из храма хотите стать, гонителями церкви прославиться у Бога хотите?»

Но главное, что было сказано отцом Андреем напоследок:

«Смотрите, а то ведь разрушите храм, данный в тебе, и построить уж не успеете. Идите и смотрите, может, даст Бог, и увидите, что делается вами на самом деле, может, тогда ужаснётесь, делом истинным, может, тогда займётесь. А то и опомнитесь, может, тогда успеете, поди... Успей, дорогой Сергей Петрович, успей Христа ради...»

Сергей Петрович посмотрел вперёд, пробрался взглядом по древесным стволам к нависшему тяжёлому взгляду неба и набрал номер Настеньки:

— Деда, привет, — голос внучки даже через динамик смартфона звучал как-то тепло и спокойно.

— Внуча, ты, в общем... передумал я, ты иди, иди, как решила, я... в общем, только вот попросить хотел... там же, как там... в общем, там же как-то можно за своих-то ведь... ну, помолиться за меня же сможешь, а то ведь я не умею же совсем.

Дождь зарядил сильнее. Мир плакал об ушедшем и упущенном, мир рыдал о каждом встречном и поперечном. А если был над миром или в мире Господь, то он, наверное, плакал от радости, что одним человеком стало больше на этом свете.

И разрывалась душа человеческая, отзываясь на печали мира и радость Бога, и текла по лицу Сергея Петровича небесная вода — вода чистая, вода иорданская. И пила воду земля, и жарко горела в этой воде жизнь настоящая, жизнь вечная.

И в этой жизни стоял Сергей Петрович Глотов, онпил эту жизнь, он тихо плакал и радовался чему-то немыслимому, непроизносимому.

— Сергей Петрович, там вас рабочие спрашивают.

— Что такое, уже закончили, что ли?

— Говорят, что надо с кирпичом что-то решить.

Глотов поднялся из-за директорского стола и вышел из директорского кабинета. Проходя по школьным этажам, Сергей Петрович кивал на уважительные приветствия учеников. В фойе перед выходом из школьного здания стену занимало большое полотно с яркими пятнами цветных рисунков и фотографий — школьная стенгазета. Вспомнились свои школьные годы, когда, искренне веря в добровольческие дела, вписывали в такую же школьную стенгазету лозунги о важности честного труда и призывы к сбору макулатуры и металлолома.

На углу, перед кучей из разобранного «кирпичного недоразумения», Сергея Петровича ожидал бригадир рабочих. Сами работяги сидели в сторонке: кто на обломке неликвидного к разбору кирпично-стенного куска, кто просто на корточках.

— В общем, сделали сколько возможно, остальное кусками уже не разбираемыми, их хоть коли, хоть разбивай, всё равно нормально не получится кирпич очистить, — бригадир показал на кирпичные кучи. — Вообще повезло, кирпич на растворе некрепко сидел, в основном всё хорошо разобралось.

— Ага, отлично, отлично, — Глотов прошёлся вдоль куч, оценивая масштаб совершенного разрушения стены и разбора кирпичных завалов.

Бригадир вдруг спросил:

— А что это за стена-то была? Странная какая-то, мы с мужиками так и не поняли, зачем она.

— Да так, что-то вроде памятника.

— Памятника? Это кому такой памятник из кирпича, строителям, что ли?

— Может, строителям, а может, ещё деятелю какому-нибудь, кто же сейчас уже скажет, умер автор идеи, от старости умер.

— А? — неопределённо протянул бригадир. — А с кирпичом-то что? Куда его?

— Кирпич, — Глотов ненадолго задумался. — А давай-ка его к спортивной площадке, там небольшая куча уже есть на заднем дворе, школьники складывали, вот рядом чистый кирпич и кладите. А неразборные куски, их отдельно, мы потом что-нибудь придумаем для них, может, на уроках труда какой-нибудь памятник декоративный сделаем.

Вокруг разгорался живительным солнцем новый немыслимый день.